



Полина Викторовна Дашкова

Точка невозврата (сборник)

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=602435

*Точка невозврата / Полина Дашкова: АСТ Астрель; Москва; 2010
ISBN 978-5-17-069776-2, 978-5-271-30317-3*

Аннотация

«Я не знаю, где кончается придуманный сюжет и начинается жизнь. Вопрос этот для меня мучителен. Никогда не сумею на него ответить, но постоянно ищу ответ.

Когда я писала трилогию „Источник счастья“, мне пришлось погрузиться в таинственный мир исторических фальсификаций. Попытка отличить мифы от реальности обернулась фантастическим путешествием во времени.

Документально-приключенческая повесть „Точка невозврата“ представляет собой путевые заметки. Все приведенные в ней документы подлинные, я ничего не придумала, я просто изменила угол зрения на общеизвестные события и факты.

В сборник также вошли четыре маленьких рассказа и один большой. Все они обо мне, о моей жизни. Впрочем, за достоверность не ручаюсь, поскольку не знаю, где кончается придуманный сюжет и начинается жизнь».

Содержание

Лешенька	4
Ее величество пробка	15
Балет	19
Как я снималась в кино	21
Брюки дев	23
Точка невозврата	26
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Полина Дашкова Точка невозврата

Лешенька



«Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом». (Св. апостол Павел, Первое послание к Коринфянам)

Хирург В. Л., как обещал, позвонил мне в девять утра и сказал: «Ваш больной очнулся, настроение бодрое, улыбается, передает вам привет. Отдыхайте, постарайтесь выспаться». Я пролепетала слова благодарности и впервые за десять суток крепко уснула. Операция длилась восемь часов, но прошла благополучно. Наркоз «мой больной» перенес легко. Пока он в реанимации, к нему все равно не пустят, так что сегодня в клинику ехать не нужно. Я закрыла глаза и увидела «моего больного» совершенно здоровым. В институтской аудитории он сидел через ряд от меня, впереди, и вертелся, чувствовал мой взгляд. Я спрашивала себя: ну что ты на него уставилась? Он вовсе не в твоём вкусе. У тебя есть мужественный взрослый жених, а этот – мальчишка, ребенок. Он повернулся, поправил очки, сверкнул на меня глазом. Щеки его пылали. Я равнодушно подумала: ну вот, зачем мальчику такие роскошные золотые волосы, голубые глаза, нежный девичий румянец? Ему следовало бы родиться девочкой. Наверное, от него будут рождаться очень красивые девочки.

Просвеченная солнцем аудитория, пляска пылинок внутри толстых пологих световых столбов, быстрый поворот золотой лохматой головы, розовый абрис щеки, коричневая дужка очков, большие круглые заплаты на локтях изношенного свитера, – все это уже тогда, почти тридцать лет назад, стало воспоминанием, причем не моим, а нашим с ним общим. И две наши девочки, и долгие годы неразлучной жизни уже существовали в прошлом или в будущем. Не важно.

Наши поезда, самолеты, вертолеты, бесчисленные города, леса, моря, океаны, в которых он упорно учил меня плавать, – все вдруг взметнулось со дна моей души, закрутилось мгновенным радужным вихрем и улеглось на место, притаилось, оставив легкий озоновый запах.

В наше первое лето в тамбуре поезда Тюмень – Тобольск он спел мне песню «С одесского кичмана сбежали два уркана». Кажется, именно тогда мы впервые поцеловались. В Тобольске в гостинице нас поселили в разных номерах: его – в мужском, меня – в женском. Мы решили – как вернемся в Москву, срочно обзаведемся штампами в паспортах, чтобы впредь это безобразие не повторялось.

Мы терпеть не могли ритуалов. Сбежали с собственной свадьбы. После регистрации всего пару часов посидели за столом и отправились на вокзал, сели в поезд, укатили в далекий южный город. Уже взрослые, мы тихо удирали с разных торжественных мероприятий, с фильмов, концертов и спектаклей, которые нам не нравились. Мы были легки на подъем, бесконечно много ходили пешком по Москве, Питеру, Нью-Йорку, Парижу, Венеции, Праге. Мы забредали в глубь непроходимой тайги под Ханты Мансийском и видели медведя-людоеда. Мы встречали Новый год в студенческом забастовочном штабе в Братиславе в радостные дни «бархатной революции». Мы купались в Атлантическом океане на Брайтон-Бич, носились на мотоцикле по горному серпантину греческих островов, спускались в сталактитовые пещеры, летали на парашюте, привязанном к катеру, над Средиземным морем.

Я давно догадывалась, что прошлое – хорошо забытое будущее, а всякое новое знание есть воспоминание. Потом мне это подтвердили люди, весьма осведомленные – Платон, Блаженный Августин, Альберт Эйнштейн. Пространство не трехмерно, а время не линейно. Пространство может искривляться, время то и дело меняет темп и движется в разных направлениях. Прошлое живет в памяти, будущее – в воображении. Разница невелика.

Почти сразу после звонка хирурга я открыла глаза и вскочила. Нечто серое, размером не больше теннисного мяча, пронеслось надо мной. Станный шорох, сухой, пульсирующий, и дрожь воздуха – вот все, что я успела запомнить. Это был воробей. Он влетел в открытое окно спальни, ударился о зеркало, прочертил быстрые зигзаги под потолком, словно оставил какие-то ритуальные знаки, и вылетел прочь.

Я не верю приметам. Зачем они нужны? Мне и так уж все сказали врачи. Опухоль четвертой степени, метастазы. Впрочем, врачам я тоже не верю.

«Мой больной» лежал в проводах и трубках, как компьютер, к которому много всего подсоединили. Мой Лешенька смотрел на меня, улыбался и рассказывал, что в операционной и в реанимации потрясающе интересно. Похоже на путешествие в будущее или на голливудскую фантастику. Ему нельзя было ни пить, ни есть, но это мешало ему значительно меньше, чем невозможность жестикулировать. Рассказывая о чем-то, Лешенька размахивал руками так, что сшибал свои очки. Они бились, ломались, терялись, в конце концов он перестал их носить, и зрение его как-то само собой выправилось. Он водил машину по московским пробкам, по десяткам незнакомых городов, читал при тусклом свете самый мелкий шрифт, монтировал свои фильмы и отлично обходился без очков просто потому, что ему надоело каждый раз заказывать новые.

Я с самого начала попросила врачей не сообщать моему мужу подробности диагноза, размер опухоли, количество метастазов, и о воробье, залетевшем в спальню, я, разумеется, не сказала ни слова. Лешенька, в отличие от меня, верил врачам и приметам. Я убеждала его, что врачи вылечат, и придумывала приметы, которые это подтверждали. Я знала, что его болезнь они лечить не умеют, но верила, что он выздоровеет, просто потому, что ему надоест болеть.

Хирург С. Ю., который оперировал Лешеньку, зашел в палату, осмотрел его, весело поболтал с ним, потом увел меня в ординаторскую и очень подробно рассказал, какие органы и насколько сильно поражены метастазами.

«Там не осталось живого места. Этот вид опухолевых клеток самый агрессивный. Они растут очень быстро. Если вам нужно поплакать, не сдерживайтесь. Лучше здесь, чем там у него, в палате».

Я ответила, что плакать предпочитаю в одиночестве, дома в ванной. И вообще не собираюсь сдаваться.

«Хорошо», – сказал хирург и принялся рассказывать мне чудесные истории о том, как выживали самые безнадежные онкологические больные вопреки всем медицинским прогнозам.

После операции Лешенька поднялся на ноги удивительно скоро. Мы ходили по маленькой палате, со штативом капельницы, нам не хватало рук, чтобы держать все дополнительные склянки и пакеты, которыми он был обвешан. Но количество их с каждым днем убывало. Мы гуляли по коридору, наконец вышли в больничный парк.

Стояла волшебная золотая осень, теплая, сухая. Под ногами шуршали кленовые листья. Над головой сияло чистое, без единого облака, небо. Я говорила, что через год мы непременно приедем сюда, в Измайлово, и будем вспоминать эти наши послеоперационные прогулки, больницу, хирургов В. Л. и С. Ю. Они отлично сделали свое дело, спасибо им.

«С. Ю. я вспоминать не буду, – сердито проворчал Лешенька, – он к тебе откровенно клеится. Ты с ним часа два болтала в ординаторской».

Впервые за долгую жизнь я обрадовалась, что Лешенька меня ревнует. Раньше это пугало и раздражало. Он ревновал меня ко всему на свете, не только к людям, но и к вещам. Я должна была всегда носить колечки и сережки, которые он мне дарил, пить кофе из чашек, которые он для меня покупал, подробно рассказывать ему обо всех своих выступлениях, встречах с читателями, поездках, прочитанных книгах. Если какой-нибудь фильм или спектакль я смотрела без него, он обижался совершенно по-детски. Он ревновал меня даже к моим вымышленным героям. «Ты рядом, но тебя как будто нет, ты думаешь только о них, я слышу, как они там у тебя в голове ходят, разговаривают, кашляют, смеются и плачут».

Когда мы ждали первого ребенка, он вдруг заявил: «Ты будешь любить его больше, чем меня, и как же мне тогда жить?» Я решила, что он шутит. Но нет, это оказалось вполне

серьезно. И дурацкая детская присказка «Вот я стану старый, толстый, лысый, и ты меня разлюбишь» тоже была вовсе не шуткой.

Во время одной из наших прогулок по больничному парку он сказал: «Мы жили слишком счастливо. Теперь за это приходится расплачиваться».

Я спросила: «С кем расплачиваться?» Он ответил: «Не знаю».

Хорошо заживали швы. Поднимался гемоглобин и лейкоциты. Были чистые легкие и здоровое сердце. Химиотерапевт сказал мне, что надежды нет, но есть шанс: молодой возраст и сильный резерв организма. В любом случае, такого больного нельзя оставлять без лечения. В отличие от хирургов, этот доктор мне не понравился. Азарт и амбиции никак не вязались с его трагической специальностью. Про себя я назвала его «доктор А. А.».

У нас не осталось ни времени, ни выбора. Когда обнаружили опухоль, она была такая огромная, что без операции Лешенька мог погибнуть в течение нескольких суток от кишечной непроходимости. Операция спровоцировала бурный рост метастазов, а их и так уж было полно. Следовало срочно начинать курс химиотерапии.

У медсестры, которая вкатила в палату штатив с капельницами, были так густо накрашены ресницы, что светло-серые глаза казались белыми. В большой банке покачивалась прозрачная, совершенно безобидная на вид жидкость. Лешенька старательно сжимал и разжимал кулак, чтобы вздулись вены.

За мгновение до того, как в вену вошла игла, я шагнула к сестре, отстранила ее профессиональную руку, обняла Лешеньку и прошептала:

– Пойдем отсюда.

– Конечно, Малышонок, поехали домой, – ответил он и принялся искать в тумбочке коробку конфет, чтобы подсластить недоумение белоглазой сестры.

Мы вышли в золотое осеннее утро. Мы сбежали. Я видела, как два силуэта, его и мой, растворились в солнечном свете на повороте аллеи больничного парка. Мы продолжали существовать, но в другом измерении. Пространство искривилось, вернее, скривилось в страдальческой гримасе. Все, что происходило здесь и сейчас, не могло быть реальностью, потому что здесь и сейчас присутствовала смерть, а в реальности ее нет. Как положено фантому, она окружает себя разнообразными ритуалами. Ритуалы завораживают.

Игла вошла в Лешенькину вену. Прозрачная жидкость потекла по трубке. Я не шевельнулась, не сказала ни слова. Я поступила разумно. Мой муж лежал в одной из лучших московских клиник, проходил курс интенсивной химиотерапии. Он был образцовым пациентом, смиренным, терпеливым и доверчивым. Я была образцовой женой пациента. Свежие овощные соки, супчики в термосах – для него. Конверты с крупными купюрами – для врачей. Шоколадные наборы и мелкие купюры без конвертов – для сестер.

После второго курса размеры и количество метастазов увеличились еще больше. Доктор А. А. сказал, что это значительно ухудшает прогноз, однако третий курс необходим, поскольку такого больного нельзя оставлять без лечения. Это не гуманно.

Перед третьим курсом нам дали короткую передышку. Невозможно было представить, что с того страшного дня, когда обнаружили опухоль, прошло всего лишь два месяца. За такой короткий срок мой муж не похудел – он растаял, от него ничего не осталось, как будто плоть его до костей обглодали пираньи. Вместо лица образовалась желто-серая маска скорби, словно злая колдунья превратила Лешеньку в кого-то другого. Мне хотелось стянуть маску и потихоньку сжечь, как сжег Иван-царевич лягушачью шкурку своей заколдованной суженой.

Мы все – он, дети, я – чувствовали себя персонажами жуткой сказки. Наши жесты, реплики, диалоги, монологи подчинялись законам какой-то чужой и, кажется, очень древней драматургии.

Я пыталась поймать ускользающий взгляд доктора А. А., спрашивала, уверен ли он, что третья химия нужна, если от первых двух стало только хуже? Он возмутился. Оставлять такого больного без медицинской помощи негуманно, бесчеловечно. Я подумала, что вот, появилось новое выразительное словечко в ритуальном течении наших с А. А. диалогов. Бесчеловечно.

Кроме доктора А. А. были, разумеется, другие. Пожилой светила, лучший специалист по Лешенькиному диагнозу, заявил, что лечат моего мужа неправильно. Они его убивают. Он так и сказал, вернее, воскликнул и добавил уже спокойно, сочувственно: этот вид опухолевых клеток не поддается воздействию химии. Печень вся в метастазах, она не справляется с химическим ядом и разрушается еще стремительней. Все яды остаются в организме. Я спросила: что же делать? Он ответил: срочно перекладывать из той клиники в нашу, в реанимацию, дома держать нельзя, до третьей химии он просто не доживет.

Я соединила его по телефону с доктором А. А. После пятиминутной беседы светило назвал А. А. игроком и мальчишкой. Между ними произошел неприятный конфликт. Потом, в очередном диалоге со мной, А. А. назвал светилу отсталым ретроградом и напомнил мне о шансе, который дает нам резерв молодого организма. Для шутки это было слишком жестоко.

Две недели Лешенька оставался дома. Он почти не мог есть, с трудом передвигался, но нам удавалось гулять и даже ходить в ближайшее кафе. По утрам он старательно делал гимнастику, пил свежие соки, травяные чаи, аккуратно принимал разные чудодейственные биодобавки. Баночками и коробочками была уставлена вся кухня. Я закупала эти пилюли в огромном количестве. Продавцы-консультанты твердили, что нужно увеличивать дозы, звонили и предупреждали, что в следующем месяце не будет поставок препарата, настоятельно советовали закупить сразу на полгода вперед, ибо лечение нельзя прерывать, рассказывали страшные истории, как кто-то пожалел денег, а потом уж было поздно.

Их голоса звучали сочувственно, ласково. К некоторым мы даже ездили, и Лешенька проходил всякие интересные альтернативные диагностики. Ему щупали пульс, заглядывали в глаза, к нему подсоединяли какие-то устройства, и на экране компьютера возникали разноцветные органы, испещренные загадочными знаками. Он слушал комментарии и советы очень серьезно, завел специальный блокнот, записывал туда расписание приема пилюль.

Я была благодарна продавцам-консультантам больше, чем дипломированным докторам. Доктора уже похоронили моего мужа. Продавцы консультанты обещали, что он выживет. Но главное – их пилюли были безвредны, в отличие от химии.

Лешенька беспрекословно верил и тем, и другим, твердил, что третий курс непременно поможет и отказываться нельзя ни в коем случае. Я не спорила. Доктор А. А. стал для него непререкаемым авторитетом. Почти каждый вечер, закрывшись в кабинете с телефоном, я тихо умоляла доктора хотя бы продлить передышку. А. А. сурово объяснял мне, что о передышке не может быть и речи. Даже думать об этом бесчеловечно. Пока остается шанс, нужно бороться.

О сильном резерве молодого организма доктор больше не упоминал. От организма ничего не осталось, все его системы разладились, всякое естественное отправление превратилось в пытку. Лешенька мужественно терпел, он готов был терпеть все, лишь бы выздороветь.

Я советовалась с разными специалистами, как облегчить очередное страдание. Гематологи, урологи, проктологи, эндокринологи, терапевты говорили примерно одно и то же. Нужны такие-то процедуры и такие-то лекарства, но ничего этого нельзя. У процедур и лекарств есть побочные эффекты, которые сразу убьют моего мужа.

Каждый специалист считал своим долгом напомнить: «Вы же понимаете, он обречен». Каждый давал подробное научное объяснение пытки. Из объяснения следовало, что причиной страданий была не болезнь, а химиотерапия. Но все равно необходимо продолжать, про-

водить третий курс. Иных способов лечения медицина пока не придумала. Да, третий курс не поможет. Вообще ничего не поможет. Все бесполезно.

Доктора искренне удивлялись, когда я просила не произносить этого при Лешеньке. Он же взрослый человек, неужели сам не понимает?

Нет. Он не понимал. Он старательно, изо всех сил лечился. Я на ходу училась смягчать боль и облегчать невыносимые симптомы при помощи всяких народных домашних средств, травяных отваров, настоек, мазей. Лешенька был уверен, что через пару месяцев начнет съемку очередного фильма, полетит в Краков, потом в Нью-Йорк. Осталось потерпеть немного, вот пройдем третью химию, отдохнем и станем жить дальше. Само слово «химия» звучало так, словно речь шла о школьном предмете. Надо хорошо подготовиться и сдать экзамен на «отлично».

Опять мы отправились по ненавистному маршруту, к девяти утра, натошак. Больничный парк облетел, стало холодно, моросил мелкий ноябрьский дождь. В Москве началась эпидемия гриппа. В клинике объявили карантин. Доктор А. А. милостиво распорядился, чтобы охрана пропускала меня в любое время, каждый день. Перед началом курса Лешеньке влили все необходимое, чтобы поднять до приемлемой нормы показатели крови.

Я спрашивала доктора, абсолютно ли он уверен, что поступает правильно? У нас осталось совсем мало времени, болезнь сама по себе мучительна, однако она все-таки милосердной лечения. Об этом говорят дипломированные врачи, это черным по белому написано во всех учебниках и справочниках.

Доктор обиделся: «Почему вы так плохо обо мне думаете? Неужели я кажусь вам таким легкомысленным и амбициозным человеком? Или вы считаете, что я иду на это ради денег? Нет! Я верю, у нас есть шанс остановить рост метастазов. Курс будет самый интенсивный, по новейшей методике».

Мне стало неловко, что я обидела благородного доктора, который искренне хочет нам помочь. Я попросила прощения. Слово «шанс» само по себе звучало волшебным. Никто из дипломированных докторов не давал нам ни единого шанса. Только А. А.

У Лешеньки почернели и скрутились спиральками вены обеих рук. Но белоглазая сестра была мастерицей своего дела, она всегда находила местечко, куда ввести иглу. В маленькой палате стояла невыносимая духота, но окно открывать не разрешалось из опасения простудить больного. Лешенька не мог спать от духоты и от боли. Боль никак не была связана с метастазами. Болели руки, изуродованные тромбофлебитом. Болел кишечник, сожженный интенсивным курсом. Болела кожа, она слезала клочьями и кровоточила.

«Я больше не могу, я хочу домой», – говорил Лешенька.

«Нельзя прерывать курс, ни в коем случае», – объяснял А. А.

«Если Леша вечером не берет трубку, мне страшно, что он уже в реанимации и я его больше никогда не увижу», – жаловалась я доктору.

«Успокойтесь, – снисходительно улыбнулся доктор, – в нашем отделении нет реанимации. Когда станет совсем плохо, мы его вам отдадим».

В подземном туннеле, соединявшем больничные корпуса, я часто встречала странное существо. Шарик на ножках. Совершенно круглая, раздутая женщина прогуливалась по туннелю. Лысую голову прикрывала косынка в цветочек. Лицо было бледно-серое, отечное, без бровей и ресниц, но с темными усами и бородкой. Я знала, что для посторонних глаз мой Лешенька, истощенный, желтый, выглядит не менее чудовищно. Мой муж, и эта незнакомая женщина, и другие обитатели отделения химиотерапии напоминали персонажей с полотен Босха.

Волоча по кафельному туннелю сумку с термосами, бутылками, банками, я вдруг отчетливо поняла: невозможно вылечить человека, так уродуя и унижая живую плоть. Конечно, это другая реальность, подмена, имитация реальности.

Я входила в маленькую душную палату, целовала желто-серую маску, натягивала чистые шерстяные носки на распухшие ледяные ноги. Приходилось разрезать резинки носков, иначе они не налезали. Лешенька был такой холодный, что у меня стыли губы и пальцы. Я поднимала его и упрямо повторяла про себя: «Все равно спасу, вытащу, отмолю». Мы чистили зубы, умывались. Нас неотлучно сопровождал штатив капельницы. Каждая ложка каши, каждый глоток овощного сока становились нашей победой. Если не было тошноты после еды, мы считали себя триумфаторами.

Рано утром в день выписки Лешенька позвонил и сказал: «Меня не отпускают. Слишком плохие анализы. Забери меня отсюда, я больше не могу».

Через час я была в клинике. Через три часа мне все-таки отдали моего мужа, но с условием, что мы будем регулярно вызывать на дом медсестру, сдавать анализ крови, отправлять результаты доктору А. А. по электронной почте и через десять дней вернемся на четвертую химию.

Когда мы вышли за ворота клиники, я знала совершенно точно: больше мы сюда не вернемся. В пасмурном ноябрьском свете не так заметна была страшная желтизна. Шапка, шарф, воротник куртки делали его облик почти прежним, в машине мы болтали о чем-то, что не имело отношения к болезни, к больнице, и стало казаться, что мы сбежали, ускользнули, возвращаемся в свой мир. Все страшное закончилось, мы живы, теперь нужно только выздороветь.

Мне было удивительно легко поверить в это. Тяжесть и абсолютную безнадежность диагноза я скрывала не только от Лешеньки, но и от наших детей, от близких друзей, от знакомых, вообще от всех, кого это волновало. Себе самой я врала точно так же, как другим, иначе я бы не выдержала.

Дома каждая минута была подчинена строгому расписанию приема пилюль, отваров, настоек. Опять мы делали гимнастику, гуляли, ходили в ближайшее кафе. Лешенька просматривал отснятый материал своего нового фильма.

Уже через несколько дней ушла боль, перестала слезать кожа, появился аппетит, невероятно улучшились показатели крови. Я аккуратно отправляла результаты анализов доктору А. А. Он ждал нас на четвертую химию.

У нас была давняя привычка рассказывать друг другу свои сны. Лешеньке снилось, что он участвует в каких-то соревнованиях. Добежит и выздоровеет. Попадет в цель и выздоровеет. Перепрыгнет препятствие и выздоровеет. Сны почему-то всегда прерывались в самый важный момент. Он не успевал узнать, удалось ли добежать, попасть в цель, перепрыгнуть препятствие.

Я спала урывками, вскакивала при малейшем шуме, боялась, что он встанет и упадет, что начнется тошнота и он захлебнется. Мне снился один и тот же кошмар. Гигантская розовая свиноматка в черном кружевном белье восседает на глинистом холме. Существа, отдаленно похожие на людей, маленькие, серенькие, иссохшие, ползут вверх, скользят по глине, тянут руки. Свиноматка спокойно и деловито сжирает каждого, кто приближается к ней. Они не замечают этого, она кажется им божеством, такая розовая, мягкая, величественная. Они упрямо ползут, оттесняют друг друга, покрываются слоями глины. Среди них мой Лешенька. Я пытаюсь остановить его, но не могу. Свиноматка смотрит на меня сверху вниз, надменно и насмешливо. У нее маленькие, водянистые глазки, густо обведенные бирюзовыми тенями. На голове пышный белокурый парик.

Я не рассказывала Лешеньке этот сон, придумывала для него другие сны, смешные, яркие, счастливые. Самой себе я повторяла: «Свиноматка – образ опухоли. На самом деле ее нет. Опухоль вырезали. Что же это?»

Я не чувствовала усталости, но однажды с удивлением обнаружила, что с меня сваливаются джинсы и обручальное кольцо соскальзывает с пальца.

«Ты не спишь, не ешь, только мной занимаешься, из-за меня не можешь работать. Тебе скоро это надоест», – говорил Лешенька.

Я терялась, не знала, что ответить. Мне становилось страшно, когда он так говорил. Я чувствовала рядом с нами постоянное чужое присутствие. Нечто ледяное, зловонное, наглое влезло в нашу жизнь. Уже не во сне, наяву, я видела свиное рыло, водянистые глазки. Оно никак не походило на общепринятый образ смерти, на скелет с косой. Оно было свиноподобным человеком или человекообразной свиньей, вполне упитанной, весомой, зримой. Оно копало огород, выращивало овощи и смотрело сериалы по телевизору. Оно распространяло вокруг себя удушливый зловонный дым обыденности, смертной скуки, прогорклого сала, водочного перегара, повседневного унылого предательства, тошных домашних склок, тлена, окончательного вечного небытия.

У того, кто подышит этим дымом, возникают галлюцинации. Потустороннее свиное хрюканье воспринимается как собственный внутренний голос, который твердит: никто никого не любит, все друг другу врут и завидуют. Жри, пей, ни в чем себе не отказывай. Кто смел, тот и съел, кто не успел, тот опоздал, за все надо платить. Ты состаришься, сдохнешь, тебя съедят черви, и ничего не останется.

Нужен очень сильный духовный иммунитет, чтобы не обмануться, не принять злобный бред за абсолютную истину. У кого-то сильный иммунитет, у кого-то слабый. Не знаю, с чем это связано.

Небытие умеет создавать свою реальность. Она кажется вполне убедительной. Серые денечки, бессонница и ночные кошмары. Одиночество. Неизлечимые болезни, катастрофы, несчастные случаи. Все бессмысленно и безнадежно. От всех прочих многообразных реальностей эта отличается лишь тем, что в ней нельзя жить.

«Я стану старым, толстым, лысым, ты меня разлюбишь. Мы жили слишком счастливо, теперь приходится за это расплачиваться. Из-за меня ты не можешь работать, тебе скоро надоест».

Задолго до опухоли в нем, здоровом, красивом, талантливом, стало что-то происходить, меняться, незаметно, глубоко внутри. Чуть-чуть потускнел взгляд, потяжелела походка, сжались губы, появилась какая-то сумрачная тревога, настороженность, панический страх старости, отвращение к своему телу, недоверие ко мне, к детям, к самому себе. Он делал великолепные фильмы и уныло спрашивал: «Кому это нужно?» Какие-то телевизионные продюсеры, знатоки общественных вкусов и рейтингов говорили ему, что это скучно, и он верил. Множество обычных живых людей восхищались фильмами, он не то чтобы не верил, а просто не слышал. Дети и я повторяли, что он самый талантливый, красивый, любимый. Не слышал.

Еще до опухоли он незаметно для нас и для самого себя ускользнул в иллюзорную реальность и заблудился там. Я была уверена, что выберется. В незнакомых и самых запутанных местностях он всегда находил дорогу, даже без карты.

Природа рака до сих пор остается загадкой. Во всех тканях организма каждый день появляются безумные, произвольно делящиеся клетки. Но есть сложная, мудрая система защиты внутри организма. Пока она работает, безумные клетки не опасны. Но если система защиты блокируется, они неудержимо размножаются, образуют опухоль. Она вырабатывает особый белок, который вызывает рост сосудов, и притягивает к себе все соки организма, по кровеносному руслу распространяет свое безумие на всю систему. Так возникают метастазы.

Опухолевые клетки живут только ради самих себя. Им все безразлично. Их цель – жрать, делиться, создавать свои бесчисленные копии. Их суть – абсолютный, ледяной эгоизм. У них нет индивидуальности и клеточной памяти. Это дает им возможность выживать, когда гибнут их мирные разумные собратья. Развитие раковой опухоли происходит в точном соответствии с теорией Дарвина. Естественный отбор. Выживают сильнейшие.

Методы лечения под стать болезни, также жестоки и загадочны. Средневековые врачи лечили рак мазями и пилюлями из человеческих испражнений. До сих пор это практикуется в так называемой альтернативной медицине.

Дипломированные онкологи, оснащенные современной сложнейшей техникой, действуют жестко и решительно. Жгут рентгеном, травят гормонами и химией. Уничтожать опухолевые клетки таким способом все равно что бомбить город, в котором повысилась преступность, вместе со всеми домами и жителями. Понятно, что у бандитов больше шансов отсидеться в убежищах, чем у обычных законопослушных граждан. Выживает сильнейший, жаднейший, хитрейший. Вот логика иллюзорной реальности.

Я прочитала море разнообразных текстов о раке. Я читала и думала: «Все это весьма любопытно, поучительно, однако при чем здесь мой Лешенька? Он так старательно, терпеливо лечится, выполняет предписания врачей и продавцов-консультантов, готов лечь и на четвертую химию, если на этом будет настаивать доктор А. А.».

Улучшение оказалось последней короткой передышкой. Желтуха нарастала вместе со слабостью и постоянной мучительной тошнотой. Когда пришел результат очередного анализа крови, мне пришлось закрыться в ванной, чтобы выплакаться хоть немножко, иначе слезы бы задушили меня.

Позвонил разгневанный А. А. «Почему вы не присылаете мне результаты анализов?» Я спросила: «Зачем?» Он ответил: «Ну, мне же интересно. При такой локализации метастазов химиотерапию стали применять совсем недавно, я хочу понаблюдать динамику». Я сказала: «Бог вам судья», – и повесила трубку.

Лешенька уже не мог ходить самостоятельно, но смириться с этим не желал, вставал, шел, падал. Я поднимала. С каждым разом это было все трудней. Он говорил: «Не сумеешь. Надорвешься». Я молилась про себя, а вслух повторяла: «Ничего, ты легкий, мы поднимемся, что бы ни случилось, мы все равно поднимемся».

Я перестала звонить врачам, мне надоело слышать, что мой муж обречен, остались считанные дни и ничего нельзя сделать.

«Позвони всем врачам, спроси, почему я так слабею!» – требовал Лешенька.

Однажды мне все-таки пришлось вызвать «скорую». Отказали почки. Опять я услышала те же опостылевшие речи. Мне предложили госпитализировать его. Я спросила: зачем, если все равно ничего сделать нельзя? Мне ответили: вы не справитесь, это невозможно, у вас тут дети.

Они уехали. Я заварила петрушку в молоке, еще какие-то травки. Утром почки заработали.

Однажды ночью я проснулась и обнаружила, что Лешенька не дышит. Я стала целовать его и просить: «Дыши, дыши, вернись, пожалуйста».

Он вернулся, открыл глаза, испуганно забормотал: «Малышонок, что это было? Где я был? Ничего не понимаю, не помню. Не отдавай меня туда, там очень страшно».

Это повторялось часто, по несколько раз в сутки. Но мы все равно поднимались, умывались, одевались, даже делали некое подобие утренней гимнастики и завтракали за столом.

Я давно уж не выходила из дома, но близился Новый год. Я отправилась в торговый центр и купила Лешеньке легчайшую, очень теплую куртку на гагачьем пуху, с лисьим воротником. Дети нарядили елку. Впервые за многие годы не было никаких гостей, только телефонные звонки с осторожными поздравлениями и пожеланиями, чтобы все плохое осталось в уходящем году.

Когда забили куранты, мы чокнулись свежим морковным соком. Лешенька сидел за столом, рассматривал свою куртку, гладил лисий воротник, но примерить не сумел. Каждое движение давалось ему с огромным трудом.

Мы уложили его. Больше он не вставал. Его нельзя было оставить одного ни на мгновение, он сразу переставал дышать. Мы с детьми по очереди возвращали его, он открывал глаза и опять был с нами, дышал, разговаривал, жил.

Первого января пришел священник, Лешенька исповедался и причастился. Второго января я вызвала врача, разумного милосердного терапевта, просто чтобы послушал сердце, измерил давление, что-нибудь посоветовал.

Стрелка тонометра плавно прошла по кругу, не останавливаясь. Врач попробовал еще, и еще раз, молча, выразительно взглянул на меня. Потом, наедине, сообщил: давления нет, сердцебиения нет. Только мозг живет. Я спросила, сколько у нас осталось времени. Он ответил: нисколько. Это может случиться в любую минуту.

Когда врач уехал, Лешенька мрачно произнес: «Объясни мне, что значит вся эта суета? Ты решила отдать меня в больницу? Ты устала и больше не можешь?»

В дверном проеме замаячило знакомое свиное рыло. Водянистые глазки надменно щурились. Свиноматка стояла в прихожей у зеркала, поправляла златокудлый парик, подмывала веки бирюзовыми тенями.

Я помолилась про себя, а вслух объяснила Лешеньке, что никуда не собираюсь его отдавать и совершенно не устала, он моя радость, мое солнышко, самый любимый, красивый, талантливый и что бы ни случилось, мы поднимемся.

Свиноматка насмешливо хрюкнула и исчезла. Лешенька попросил, чтобы я наклонилась к нему, обнял меня, долго не отпускал, потом вспомнил, что пора принимать очередную порцию биодобавок.

Ничего у него не болело, но он икал и не мог удобно улечься. Мы с детьми выстраивали разные конструкции из подушек, то было слишком высоко, то слишком низко. Мы ставили его любимые фильмы, включали музыку, по очереди читали ему вслух «Повести Белкина». Дети соскребали снег с карниза. Ему нравилось сжимать в кулаке снежок.

Давно настала ночь, мы дышали вместе, возились с подушками, по очереди растирали ледяные распухшие ноги, тонкие, как веточки, руки. Лешенька говорил: «Сделай что-нибудь, чтобы я мог продышаться, у тебя же все получалось, мы до сих пор справлялись, сейчас сделай что-нибудь».

Врач оставил мне набор препаратов, которые снимают судорожную икоту, поддерживают кровообращение и работу сердца, проинструктировал, что, когда и в какой дозировке вводить, но предупредил, что все это в принципе бесполезно. И реанимацию вызывать не нужно.

Я делала инъекции в бедро. Лешенька сказал, что я научилась отлично колоть, он совершенно ничего не чувствует. Стоило мне на секунду выйти из комнаты, дети кричали: «Мама, он не дышит!»

Я неслась назад, и мы начинали дышать. Я знала, это не может продолжаться бесконечно. Дети совершенно измучены, у меня кружится голова и подгибаются коленки от слабости. Я спросила: «Господи, что мы делаем?»

И тут же получила простой, ясный ответ. Мы собираем его в дорогу. Наша любовь и нежность – вот все, что он может взять с собой. Это багаж особого рода. Чем его больше, тем легче путь.

Звук его дыхания изменился, появились булькающие хрипы. Лешенька попросил: «Уберите дым, вся комната в дыму».

Свиноматка нагло, по-хозяйски, расхаживала по квартире. Она принарядилась, бесформенный торс был обтянут кофтой с розами и люрексом.

«Помолись, Малышонок», – спокойно произнес Лешенька.

Я и так уж молилась. Вслед за мной и за детьми он повторял слова молитвы. Дым рассеялся, остался только в углу, под потолком. Свиноматка зависла там же, жадно зыркала на нас подведенными глазками, насмешливо похрюкивала.

Инъекции не помогали. Хрипы звучали все громче, слышать их было невыносимо. Лешенька попросил вызвать реанимацию. «Мне очень плохо. Ты не справляешься, нужна профессиональная медицинская помощь».

Они приехали очень быстро. В груди у него kloкотало, не прекращалась икота. Они сказали, что это агония. Я попросила вколоть что-нибудь, чтобы как-то облегчить. «Вы уже вкололи все, что можно», – сказал доктор, разглядывая ампулы на столике у дивана.

Детей и меня вывели из комнаты, закрыли дверь. Один доктор остался с Лешенькой, второй поил нас успокоительными микстурами. В четыре утра они открыли дверь и разрешили зайти.

Передо нами было спокойное, чистое Лешенькино лицо. Я подумала: вот и прошла эта проклятая желтуха. Нет больше страшной чужой маски, нет никакой свиноматки, дым рассеялся окончательно.

С того дня, когда обнаружили опухоль, прошло меньше четырех месяцев, но казалось, прошли долгие годы. Впервые за этот бесконечный срок я позволила себе заплакать при нем, рядом с ним. Слезы оказались жгучими, как кислота. Они выжигали глаза. Я почти ослепла, внешний мир виделся смутно, словно сквозь перевернутый запотевший бинокль.

Примерно через сутки, когда мне удалось уснуть, я почувствовала легкое сухое прикосновение его губ, услышала испуганный шепот:

– Малышонок, объясни, что происходит? Они все говорят, что я умер. Это правда?

– Неправда.

– Тогда почему ты и дети постоянно плачете?

– Ты очень тяжело болел. Но тебе лучше забыть это.

– Я болел и умер.

– Ты не умер. Смерти нет хотя бы потому, что я люблю тебя, так же сильно, как любила.

– А тело? Я не могу на него смотреть, мне страшно.

– И не смотри. Зачем? Это всего лишь тело. Вроде старой изношенной одежды.

– Где же я? Что мне теперь делать?

– Не знаю. Ты всегда лучше меня ориентировался в пространстве и находил дорогу. Сейчас ты здесь, со мной, с детьми, потом полетишь куда захочешь. Ты свободен. Ты продолжаешь мыслить и чувствовать, уже самостоятельно, без помощи мозга и органов чувств.

– Ты в этом абсолютно уверена?

– Я люблю тебя, значит, ты существуешь. Невозможно любить то, чего нет.

Ее величество пробка



В центре Москвы, на стоянке торгового центра, у закрытых ворот, стоял новенький белоснежный «Лексус». Водитель несколько раз просигналил, но ворота не открылись. Тогда он вылез из машины и направился к будке охранников. Коренастый, гладкий, молодой, в мешковатых джинсах и алом пуховике, он шел и орал. Крик перекрывал все прочие звуки, гудки других машин, ожидавших выезда вслед за его «Лексусом», музыку из салонов, рев проспекта.

Один из охранников мужественно вышел навстречу орущему алому пуховику. Содержание крика понять было непросто, поскольку никаких слов, кроме матерных, пуховик не употреблял. Смысл сводился примерно к следующему: если ворота не откроешь сию минуту, убью, порву на части, закатаю в бетон, и вообще, трам-пам-пам, уничтожу все живое, что встретится на пути.

Достаточно было мельком взглянуть в лицо хозяину «Лексуса», чтобы понять: свои обещания он выполнит, возможно, не сейчас, но когда-нибудь непременно выполнит.

Минуты три охранник терпеливо слушал, наконец, дождавшись короткой паузы, мирно произнес:

– Еще двадцать рублей с вас.

Пуховик, передохнув секунду, опять завопил. Он не хотел платить двадцать рублей. Он считал, что это несправедливо, поскольку его «Лексус» простоял тут сорок пять минут, а не час.

Очередь к воротам росла. Гудки звучали все громче, но они не могли заглушить крика. К перечню предполагаемых жертв прибавились близкие родственники охранника, прежде всего его мама. Охранник любил свою маму. Ее честь и ее жизнь стоили, безусловно, дороже двадцати рублей. Он нажал кнопку, и ворота открылись. Красный пуховик побежал к своей машине, хлопнул дверцей так, словно красавец «Лексус» был тоже виноват перед ним, нажал на газ и ринулся вперед.

Охранник сплюнул, вернулся в теплую будку, взял газету, ручку, зевнул и обратился к своему напарнику:

– Насекомое, вредитель культурных растений. Семь букв.

– Гусеница, – ответил напарник.

На проспекте «Лексус» застрял в пробке. Рядом с ним, почти вплотную, встал старый «Форд», такой потрепанный и грязный, что нельзя было определить цвет и разглядеть номерные знаки. Машина дрожала как в лихорадке. Салон мог вместить не более пяти человек, но в него набилось семеро. Самому старшему восемнадцать. Он сидел за рулем и трясся в ритме музыки «техно». Остальные тоже тряслись. Четирем мальчикам и трем девочкам безумно хотелось танцевать. Они наелись таких таблеток, от которых тело пляшет само по себе, не уставая, как угодно долго, а мозги отключаются и все вокруг кажется смешным. Дядька в белом «Лексусе» в красном пуховике дико смешной. Дед в зеленой «шестерке» слева еще смешней. Он низко опустил голову. Он спал за рулем.

Стадо машин застыло. Кто-то нервно сигналил, кто-то ждал, разговаривал по телефону, пил, ел, читал, слушал новости.

Пробка сдвинулась на пару метров. «Форд» и «Лексус» проехали вперед, а «шестерка» осталась стоять. Старик за рулем не шелохнулся, никак не отреагировал на сердитые гудки позади него. Впрочем, скоро гудки стихли. Стадо машин опять встало, и никто не заметил короткой паузы в движении, маленького сбоя в общем однообразном ритме.

Мальчик на водительском сиденье «Форда» икал от смеха. Теперь вместо «шестерки» слева от него стояла синяя «Тойота» и гудела. Многие водители начинали сигналить, но мужчина за рулем «Тойоты» особенно упорствовал. Давил и давил на кнопку, при этом голова его была повернута назад, рот быстро двигался.

Мальчик в «Форде» не слышал, что говорил этот мужчина, даже гудки едва пробивались сквозь бешеные волны «техно». Но выражение лица водителя «Тойоты» казалось невозможно смешным. Еще смешней была женщина на заднем сиденье. Живот, как гора, глаза выпучены, рот открыт. Мужчина что-то говорил ей, сигналил, хватался за свой мобильник, дергался, как будто тоже наелся таблеток и слушал «техно».

Пробка опять сдвинулась на несколько метров. Мальчик нажал на газ. Ему и его друзьям было так хорошо, так весело, что казалось, колеса сейчас оторвутся от грязной

мостовой и машина взлетит как вертолет. Вместо этого «Форд» врезался в бампер желтого «Опеля». Удар получился несильный, мальчика лишь слегка тряхнуло, грохот «техно» стих. На самом деле просто закончился диск, но встряска и внезапная тишина подействовали странным образом. Что-то сместилось в затуманенной голове. Мальчик был совершенно уверен, что машина взлетит и будет плавно, свободно парить над пробкой, над проспектом, над сумеречным городом, танцевать, не уставая, как угодно долго. Но этого не случилось по вине водителя желтого «Опеля». Совсем не смешной, мерзкий «Опель», коварный злобный враг, нарочно встал на пути и не дает разогнаться.

Гримаса смеха превратилась в гримасу ярости. Мальчик выскочил из машины, подошел к «Опелю» и, ни слова не говоря, врезал кулаком в кожаной перчатке по стеклу со стороны водительского сиденья.

Пробка между тем стала редеть. Первым из стада вырвался белый «Лексус». Человек в красном пуховике молчал и смотрел прямо перед собой. Губы его были плотно сжаты, но в голове продолжал звучать все тот же вопль. Человек орал про себя и думал матом. Ненависть к охранникам, которые требовали лишние двадцать рублей, не успела угаснуть в нем, а уже вспыхнула ненависть к пробке, к машинам вокруг него, к толпе пешеходов, медленно ползущей перед ним, ко всем вместе и к каждому в отдельности. Ко всему живому, что возникало на его пути.

Зеленая «шестерка» стояла на том же месте. Вокруг сигналили машины, сердито визжали тормоза. Из кармана куртки старика звучала мелодия мобильного, детский голос в десятый раз пел одно и то же: «От улыбки хмурый день светлей».

Синяя «Тойота» проехала совсем немного, свернула в тихий переулок. Женщина на заднем сиденье тяжело дышала, вскрикивала и повторяла:

– Ой, мамочки! Нет! Не могу, не могу больше!

Водитель говорил по телефону через микрофон:

– Что? Что мне делать? Да, сейчас! Подождите, ничего не слышу! Нет! Ничего не вижу!

Он действительно ничего не видел и не слышал. Уже стемнело. Женщина на заднем сиденье громко кричала.

– Прежде всего зажмите свет в салоне, – объясняла в телефонных наушниках диспетчер «скорой». – Так. Ну, посмотрите, что там у нее?

– Там все мокро вокруг и что-то круглое вылезло! Нет! Опять спряталось! Скоро вы приедете?

– Бригада к вам выехала, но стоит в пробке. Мы с вами давайте-ка успокоимся, папаша.

– А! Оно опять лезет, это круглое. Что мне делать?

– Слушайте меня внимательно, папаша, и делайте то, что я говорю. Сейчас будем рожать.

Осколки стекла могли бы поранить лицо водителю «Опеля», но он успел отпрянуть. Мальчик, не дожидаясь, пока водитель придет в себя после шока, кинулся прочь, к своему «Форду». Пару метров он не пробежал, а как будто пролетел по воздуху, вскочил за руль, не обращая внимания на возгласы протрезвевших приятелей, визг испуганных девиц, помчался вперед, свернул в какой-то двор, оттуда на тихую улицу и дальше, вперед, до ближайшей пробки.

К зеленой «шестерке» подъехала машина ГИБДД. Вышел молодой капитан, постучал в стекло со стороны водителя, заглянул в салон, нерешительно тронул ручку, но дверь была заблокирована. Телефон в кармане старика молчал, то ли звонить перестали, то ли кончилась батарейка. Легкая тень пробежала по лицу капитана, сам собой вырвался слабый печальный вздох.

Старику стало жаль капитана, жаль спасателей, которым придется взламывать дверцы его старой колымаги, жаль жену, детей, внуков и это, еще теплое, тело в колымаге, на води-

тельском сиденье, с головой, упавшей на руль, с беспомощно повисшими руками. Да, тело тоже было жаль, хотя старик точно знал – телу теперь уж все равно, ничегошеньки оно не чувствует.

Стемнело. Огромный город не мог вместить столько машин, столько людей и в часы пик замирал, как будто хотел отдышаться. Останавливалось время. Мерцали разноцветные огни. Светящиеся, переливающиеся миллионами огней трассы, между ними громады домов, огни в окнах, ровные жемчужные цепочки фонарей.

Старик смотрел и удивлялся, почему никогда прежде не замечал этой удивительной красоты. Сверху не видно было уличной грязи, не пахло выхлопными газами и бензином, таяли резкие звуки сигнальных гудков, тревожный вой сирен, нервный рык моторов. Из всей бесконечной разноголосицы музыки, радионовостей, телефонных звонков и разговоров старик слышал единственный голос, отчаянный, горький и счастливый. Первый крик новорожденного ребенка.

В салоне «Тойоты» горел свет. Возле машины собралось несколько любопытных прохожих. Заглядывали в окна. Мокрое красное личико младенца обиженно морщилось. Еще пульсировал синеватый канатик пуповины. Всех интересовало, кто родился – мальчик или девочка.

Балет



Лет с трех я упорно пыталась преодолеть закон земного притяжения. Я влезала на книжный шкаф и смело бросалась вниз, стараясь долететь до дивана. Я размахивала руками, каркала и чирикала. Я считала, что эти звуки – тайные заклинания, которые произносят птицы, чтобы удержаться в воздухе.

Диван стоял далеко, у противоположной стены. Долететь до него мне не удалось ни разу. Но я не сдавалась. Я хотела немножко полетать, я верила, что смогу, мне это постоянно снилось.

В шесть лет бабушка впервые повела меня в музыкальный театр на «Лебединое озеро». Я знала, что балет – это когда только танцуют и ничего не говорят. Танец сводился для меня к чинной «полечке» и тяжеловесному гопаку на утреннике в детском саду, и я заранее с тоской представляла себе, как в театре на сцене взрослые мужчины и женщины три часа будут перебирать ногами, подскакивать и приседать.

Был мрачный дождливый день, серые улицы, давка в троллейбусе, толпа в театральном гардеробе. Следовало непременно снять сапоги и надеть лаковые красные туфли, которые я ненавидела. Нас толкали, один мой сапог упал и тут же был затоптан толпой. Бабушка нервничала и злилась. Я едва сдерживала слезы. Сапог найти не удалось, раздался третий звонок, строгие старушки в синих костюмах закричали: «Быстрее! Вы опоздаете!»

В зале погас свет. В темноте, извиняясь, задевая чужие колени, мы добрались наконец до своих мест. Из ямы под сценой звучала музыка, нежная, но довольно скучная. Я почти каждый день слышала ее по радио. Передо мной, в проемах между затылками, не было ничего, кроме занавеса. Я думала о своем сапоге. Бабушка грозным шепотом требовала, чтобы я перестала ерзать. Я уже готова была тихо сползти с кресла, спрятаться под ним и немного поспать, потому что мои сны были куда интересней этого унылого зала с его тяжелым занавесом и музыкой из ямы.

Но тут занавес открылся. Сначала я испугалась, что действительно уснула и бабушка будет меня ругать, ибо спать в театре неприлично. На всякий случай я ущипнула себя и потеряла глаза. То, что происходило на сцене, было похоже на один из лучших моих снов, только там я сама летала, а здесь это делали другие.

Таинственный, невозможный мир, о котором я всегда знала, но никому не говорила, существовал на самом деле, я видела, как сказочные существа легко парят в воздухе, кружатся, рассказывают красивую историю не словами, а руками, ногами, телом. Я сразу полюбила музыку из ямы, потому, что именно она помогала обычным живым людям стать неведомыми.

Спектакль кончился, под гром аплодисментов танцовщики выходили на поклоны. Я пробралась ближе к сцене, увидела, как они тяжело дышат, какие они потные и счастливые, как сильно у них накрашены глаза.

По дороге домой, шлепая по лужам в благополучно найденном сапоге, я поклялась бабушке, что больше никогда не буду прыгать со шкафа.

В хореографической студии приходилось часами, день за днем, месяц за месяцем, приседать и поднимать ноги у станка. Партерный эксерсис, классический эксерсис, растяжки, когда на тебя, растянутую в прямом шпагате, сложенную вдвое, садится верхом кто-нибудь потяжелей. Мышцы гудят, и кажется, что сейчас лопнут от невозможного напряжения, а потом опять к станку, и снова бесконечные плие, батманы, окрики: «Тяни носок! Держи спину! Следи за коленом! Ногу выше!»

Я так уставала, что мне больше не снились сны. Каждое утро я повторяла про себя старинную балетную поговорку: «Если ты проснулся и у тебя ничего не болит, значит, ты просто умер». Наконец мне это надоело. Я поняла, что не получаю никакого удовольствия, выполняя вместе со всеми по команде батманы тандю, фондю и фραπε, разучивая танцы, которые придумал кто-то другой.

Много лет я сочиняю свои истории и знаю, что словами могу выразить значительно больше, чем движениями рук, ног, тела. Иногда мозги у меня гудят, как натруженные балетные мышцы. В таких случаях помогает рок-н-ролл.

У меня осталась неплохая растяжка и прыгучесть. Недавно на популярном телевизионном шоу мне пришлось станцевать канкан. Меня переодели в подобающий костюм. Вместе со мной скакали три профессиональные танцовщицы. В финале надо было с прыжка опуститься на шпагат. Я сделала это, и пока звучали аплодисменты, я была так счастлива, как будто сумела долететь от шкафа до дивана.

Как я снималась в кино



Свой первый гонорар я заработала за то, чего делать не умела и не хотела. Я снялась в кино.

Началось все с собаки. Ее звали Гелла. Это была моя первая собственная собака, черный доберман-пинчер. Она отгрызала каблучки у нарядных маминых туфель и сумела квадратную коридорную тумбочку сделать круглой, аккуратно обкусав углы.

К началу моей короткой актерской карьеры мне было десять лет, Гелле шесть месяцев. Стояла весна, все таяло. После прогулки собаку следовало мыть. Я налила в ванную немного теплой воды, добавила в воду почти всю бутылку средства «бадузан» и умудрилась посадить туда собаку. «Бадузан» пах сосной и давал обильную пену. Гелле это не нравилось, она фыркала и брыкалась. Я держала ее за ошейник, намыливала губкой, поливала душем. И в этот момент раздался звонок в дверь.

– Сиди. Я сейчас, – сказала я собаке и побежала открывать.

На пороге стояла мамина подруга. Я знала ее всю жизнь, она часто приходила к нам в гости, ничего необычного в ее визите не было, но из за ее плеча выглянул некто, и я застыла с открытым ртом.

Сначала я решила, что это галлюцинация. Маленькая, лысая, обаятельная галлюцинация в замшевой куртке. Детское божество. Ролан Антонович Быков.

Моего секундного замешательства хватило Гелле, чтобы выпрыгнуть из ванной и встретить гостей. Паркет в коридоре, новый белоснежный плащ маминой подруги, замшевая куртка божества – все покрылось хлопьями бадужановой пены и размокшей грязью с Гелкиных лап.

Мне трудно вспомнить, что было дальше. Кажется, я поила их чаем и, как умела, развлекала до прихода родителей.

Через неделю к моей школе подъехал автобус, на котором было написано: «Мосфильм». Помощник режиссера заглянула в класс и попросила, чтобы меня отпустили на съемку к Быкову.

Снимался фильм «Телеграмма». Пробы давно прошли, все лучшие детские роли были распределены. Грумер долго крутила мою стриженую голову и размышляла вслух: не надеть ли парик, а то не поймешь, это девочка или мальчик.

Парик не надели, только слегка подрумянили щеки и отвели в какую-то комнату, где было много детей разного возраста.

В ожидании съемки мы разбегались по павильонам, костюмерным, гримерным. Взмывленные администраторы носились и загоняли нас обратно, но мы опять разбегались. Сильное впечатление на меня произвели два водяных, они вместе с бабой ягой ели сосиски в буфете, и живой медведь. Его вели по коридору на поводке, в собачьем наморднике.

Я должна была сниматься в сцене, где герои фильма приходят в школу, в физкультурный зал. Там одновременно занимаются баскетболисты, гимнастки и репетирует драмкружок. Роль у меня была со словами. Целых четыре слова: «Третий звонок» и «субчик-супчик». Я сидела на гимнастическом козле и все это произносила. «Третий звонок» – это был мой личный текст. А «субчик-супчик» повторяли хором все дети, которые играли репетицию школьного драмкружка.

Съемочных дней было, кажется, десять. Каждый раз волшебный мосфильмовский автобус подъезжал к моей школе, помощник режиссера заходила в класс и на глазах у всех забирала меня с урока. Мой авторитет в классе возрос до космических высот.

Однажды из-за меня прервали съемку. В тот момент, когда у меня лучше всего получилось сказать «Третий звонок», в павильоне раздался вопль: «Стоп!» У меня были другие носки, не те, что вчера. Волшебный автобус повез меня домой. Помощник режиссера вытряхнула на пол содержимое корзины с грязным бельем, выбрала из дюжины пар именно те, вчерашние, и заставила надеть. Я забыла, какие на них были полоски, а она помнила.

На премьеру «Телеграммы» в Дом кино мне разрешили привести человек пять друзей. Мы напряженно ждали сцену в физкультурном зале.

Наверное, секунды две в кадре, на заднем плане, был виден тощий черненький мальчик, сидящий на гимнастическом козле. Слова «Третий звонок» прозвучали, но как-то отдельно. Когда все хором повторяли «субчик-супчик», меня в кадре уже не было.

На свой гонорар я купила красивую лампу, похожую на старинный газовый фонарь, теплые тапочки для прабабушки, резиновую игрушку с пищалкой для Геллы и очень много мороженого.

Брюки дев



На фоне убогого ширпотреба семидесятых школьная форма казалась шедевром дизайнерского искусства. Коричневое платье и черный фартук выглядели не так уродливо и даже по своему стильно. Наверное, потому, что сохранились почти неизменными с дореволюционных, гимназических времен.

Форма моего детства отличалась удивительным разнообразием. Было два варианта платьев. Прямое, как мешок, и отрезное, с юбкой в складку. Бретели фартуков с крылышками и без. Крылышки, в свою очередь, могли быть обычными и плиссированными. Впрочем, плиссированные крылышки считались дефицитом. К платью полагалось пришивать белый воротничок и манжеты, тоже разнообразные, простые и кружевные. Выглядело это вполне симпатично, во всяком случае, лучше, чем любая другая одежда, доступная ребенку из средней советской семьи.

Я помню душный ужас «Детского мира». Пудовые пальто в серую елочку, на ватине. Войлочные черные ботинки. Их называли «прощай молодость» и выпускали всех размеров, от самого маленького, детского, до самого большого, мужского. Унылая фланель платьев цвета хаки в красных и желтых цветочках. Хлопчатобумажные колготки, темно-коричневые и мышинные. Коленки вытягивались и отвисали. Верхняя часть была широкой, как у кавалерийских галифе. Такой фасон объяснялся тем, что хорошая девочка непременно наденет под них теплые панталоны, или, как говорила моя бабушка, «трико».

Сей уважаемый предмет туалета остался в далеком прошлом, когда колготок никто еще не знал, а носили чулки на подвязках. Но почему-то детские колготки продолжали выпускать в виде галифе вплоть до конца восьмидесятых.

«Трико» я, к счастью, никогда не носила. Зато у меня была другая беда. Рейтузы. Без них ребенка зимой из дома не выпускали. Обычно я шла пешком вниз с девятого этажа, где-нибудь между пятым и шестым рейтузы быстро снимала и запихивала за батарею на лестничной площадке. А на обратном пути надевала, и никто ничего не знал.

Мой друг одноклассник Дрюня поступал так же. Его заставляли носить рейтузы под школьные брюки. Застегивались брюки на пуговицы, Дрюня спешил, пуговицы отлетали, и долго скрывать тайну своих лестничных переодеваний он не мог. Находчивая Дрюнина бабушка в качестве альтернативы предложила ему кальсоны, голубые, белые и сиреневые, на выбор. Но для Дрюни это было еще хуже, чем рейтузы. В итоге пришли к компромиссу в виде «треников». По сути, те же кальсоны, но из тонкого трикотажа, темно-синего или черного цвета.

Кстати, именно «треники» были в моем детстве чуть ли не единственным вариантом брюк, доступных девочке. Довольно долго советская швейная промышленность никаких женских брюк вообще не производила, по очень серьезным идеологическим соображениям.

Но вдруг появилось нечто невероятное. Называлось оно «брюки дев.». Из жесткого тугого эластика василькового цвета какая-то храбрая умница догадалась сшить несметное количество штанов с простроченными выпуклыми стрелками и даже с легким намеком на модный клеш.

На самых разных фигурах, независимо от размера, это загадочное изделие сидело одинаково. Резинка пояса оказывалась высоко, у подмышек, штанины едва достигали щиколоток. Сзади и спереди жесткий эластик вздувался двумя объемными упругими пузырями.

Где она теперь, та изначальная «дева», для которой произвели и размножили в десятках тысяч экземпляров эту красоту? Существовала ли она в реальности или была лишь эфемерным плодом воображения талантливых советских модельеров?

«Брюки дев.» висели бесконечными васильковыми рядами на вешалках в «Детском мире», в магазине «Пионер» на ул. Горького. Они вполне прилично выглядели на детях-манекенах в витринах. Наверное, их как-то ловко подкалывали сзади. Но клянусь – никогда ни на одной живой девочке я их не видела.

Моими первыми полноценными брюками были джинсы. Они достались мне чудом, благодаря Дрюне. Кто-то из его родственников привез ему настоящий американский «Левайс», но ошибся с размером. Упитанному Дрюне они оказались безнадежно малы. Дрю-

нина бабушка хотела распороть, сделать по бокам вставки, вроде широких лампасов. Однако рука не поднялась испортить импортную вещь, и джинсы были великодушно отданы мне.

Они сидели на мне идеально, как будто там, за океаном, в ином, волшебном и свободном мире, их сшили специально для меня. Я носила их с папиным офицерским ремнем из грубой коричневой кожи. У меня была ужасная привычка повсюду раскидывать свои скомканные вещи, но джинсы я аккуратно складывала возле кровати, на стуле, и даже ночью иногда просыпалась, чтобы погладить их, как котенка. На улице я смотрелась во все витрины. Я не ходила, а летала, мне хотелось прыгать и петь.

Когда они стали мне коротки, я обрезала штанины, сделала шорты и еще довольно долго щеголяла в них летом на даче, пока они окончательно не истлели и не канули в небытие.

С тех пор прошло много лет. Я успела сносить и забыть уйму разных вещей, среди них были очень красивые, элегантные, уютные, идеально сидящие, милые, добрые, способные поднять настроение, согреть, выручить и морально поддержать в трудную минуту. Однако ни одну из этих вещей я не любила так нежно и преданно, ни одна не дарила мне такого острого яркого счастья.

Наверное, те джинсы стоило сохранить, как хранят младенческие чепчики и подвенечные платья, чтобы иногда доставать из сундука, вздыхать, задумчиво улыбаться.

Впрочем, сундука у меня нет, а джинсы, которые я носила с девяти до одиннадцати лет, ничем не отличались от миллионов других джинсов. И дело вовсе не в них, а в загадочном васильковом изделии под названием «брюки дев.».

Точка невозврата



«Точка невозврата – в ядерной физике – тот момент реакции, когда уже невозможно вернуть ее в другую стадию и невозможно остановить. Секунда – и взрыв». (Из энциклопедии)

Когда вышел второй том «Источника счастья», на встрече с читателями в книжном магазине ко мне подошла старушка и тихо, на ухо, спросила:

– Деточка, вас кошмары не мучают? Вожди не снятся?

Я ответила:

– Мучают. Снятся.

– И что вы делаете?

– Молюсь.

– Правильно. – Старушка кивнула и исчезла в толпе.

Вожди мне действительно снились, и сны с их участием были кошмарны. Не помню, кому из советских поэтов принадлежит строчка: «И я сегодня думаю о Ленине, как он когда-то думал обо мне». Вот примерно это со мной происходило на протяжении долгих лет жизни.

В детском саду висело и стояло по меньшей мере штук десять его изображений. Круглолицый ребенок, такой аккуратный и строгий, что невозможно представить, как «он тоже бегал в валенках по горке ледяной». Юноша в косоворотке, весь куда-то вдаль устремленный. Лысый дядька с бородкой, с маленькими недобрыми глазками. Кроме портретов были еще белый бюст в кабинете заведующей и статуя на клумбе во дворе, в тусклой серебрянке, с большой башкой и недоразвитыми ручонками, правая вытянута вперед, указывает направление к Рижскому вокзалу, левая спрятана в карман.

Вроде бы я знала его с младенчества, но наше первое знакомство состоялось, когда на детсадовском утреннике 7 ноября меня обязали громко произнести: мы внучата Ильича. Я подумала, что моим родным дедушкам, Леше и Васе, будет обидно, если я назову себя чьей-то чужой внучкой. Я очень любила своих дедушек, мне вовсе не хотелось их обижать. К тому же врать нехорошо. Но что-то заставило меня это сделать. Я послушно произнесла свою часть речевки, сначала на репетиции, потом на утреннике. Мне было стыдно. Я соврала, впервые в жизни. И ничего не произошло. Все хлопали в ладоши.

Вот так мы с ним познакомились. В память об этом знаменательном событии даже сохранилась фотография. Под огромным его портретом строй нарядных детей с шариками в руках. Все дети, как положено на праздничном утреннике, веселые, только я, третья слева, пришибленная всеобщим ликованием и собственным гнусным враньем, напряженная и озадаченная.

Да, он меня уже тогда озадачил. Мне захотелось узнать – кто он такой? Любопытство мое разгоралось еще больше оттого, что я чувствовала невозможность, немыслимость прямого вопроса: кто такой Владимир Ильич Ленин? Он повсюду: во дворах и на площадях, на деньгах и в газетах. О нем пели песни, показывали фильмы, писали книжки.

Я рано научилась читать. Меня многое интересовало, например дельфины, шаровая молния и космические «черные дыры». Я нашла кучу информации о них и читала с удовольствием. Ленин меня тоже интересовал, но читать, говорить и даже думать о нем было невозможно. Во первых, нестерпимо скучно, во-вторых, всякий раз у меня возникало чувство подмены, надувательства. Я понимала – авторы врут, так же, как врала я на утреннике в детском саду, называя себя и других детей средней группы «внучатами Ильича». Да, они врут так же, но только значительно многословней и уверенней.

В десять лет я совершила преступление. У меня имелось оружие. Пластмассовая трубка, сделанная из корпуса шариковой ручки. Через нее удобно было плевать в цель комочками жеваной бумаги. В сообщники я выбрала Дрюню, моего лучшего друга. Мы дежурили после уроков, мыли пол в классе и заодно упражнялись в стрельбе. Мишенью стал портрет Ленина. Жеваная бумага не оставляла следов на стекле. Мы с Дрюней соревновались, у кого больше получится попаданий в кончик носа, в центр лба, в узел галстука. Мы так возбуж-

денно спорили, что чуть не подрались. Наверное, наша энергичная возня вызвала сотрясение пола и стен, иначе как объяснить внезапный разрыв шнура и падение портрета на пол?

Стекло разбилось. Мы застыли у доски, я с веником, Дрюня со шваброй. Сквозь осколки глядели на нас снизу вверх маленькие сощуренные глазки. Что в них было? Обида? Упрек? Злорадство? Со страху мы могли вообразить что угодно. Он расскажет нашей классной и всему педсовету, как мы плевали ему в лицо жеваной бумагой. Или ночью сойдет с пьедестала мраморная статуя, украшающая школьный вестибюль, и явится к кому-нибудь из нас домой. Мы как раз недавно прочитали «Маленькие трагедии» Пушкина. А тут еще песня Александра Галича «Когда в городе гаснут праздники, когда грешники спят и праведники, государственные запасники покидают тихонько памятники».

Мы с Дрюней были детьми начитанными и впечатлительными. Песни запрещенного Галича звучали и в его, и в моем доме. Мы ясно представили себе, как мраморный вестибюльный Ленин с гордо поднятой головой, с вытянутой вперед и вниз правой рукой медленно зашагает по ночной улице Горького, и запертые двери его не остановят. Дрюня заявил дрожащим шепотом, что мой дом ближе, чем его. Это было малодушно и вовсе не по-мужски. Я ответила: зато я живу на девятом этаже, а ты на четвертом. Мы горячо заспорили, взлезет ли статуя в лифт или станет подниматься по лестнице. В этот момент вошла классная и спокойно заметила, что шнурок давно следовало поменять, портрет, дескать, держался на соплях и хорошо, что грохнулся не на чью-то голову.

Преступление осталось латентным. Осколки смели, над доской повесили новый портрет, на крепком шнурке. Статуя по сей день стоит в школьном вестибюле, ни ко мне, ни к Дрюне домой так и не явилась.

Наши квартиры были своего рода убежищем, личным пространством, малогабаритным, но свободным от Ленина. Ни портретов, ни бюстов, ни книг. Стоило выйти во внешний мир, и великий вождь в своих бесчисленных воплощениях сразу вставал на пути.

Годам к пятнадцати он мне порядком надоел. Его оказалось слишком много в моей маленькой жизни. Помимо портретов, бюстов, статуй, денег, газет, изречений, он обильно присутствовал в школьной программе в виде текстов, не только на русском, но и на английском языке. Приходилось учить наизусть стихи о нем, на уроках пения петь о нем песни, после уроков в обязательном порядке смотреть о нем фильмы, документальные и художественные.

Он заполнял собой огромные куски пространства и времени, но выглядел менее убедительно, чем Кощей Бессмертный или Баба Яга. И в отличие от сказочных персонажей он был нестерпимо скучен. От него веяло смертельной скукой. Его образ был безнадежно мертв. Я стала подозревать, что такой человек вообще никогда не жил на свете.

Сомнения в реальности его существования только усиливались оттого, что все вокруг с поразительным упорством пыталось убедить, будто он не просто человек и не просто живой, а «самый человечный человек» и «живее всех живых».

Мумию в мавзолее я увидела лет в восемнадцать. На Всесоюзном совещании молодых писателей я была старостой семинара поэзии. Посещение знаменитой усыпальницы входило в культурную программу для участников совещания, гостей из союзных республик. Мне пришлось сопровождать группу.

Труп выглядел еще менее убедительно, чем бюсты, статуи и портреты. Мне показалось, что лицо и руки отлиты из папье-маше, а волосы у висков подрисованы простым карандашом. Представить себе земной путь этой маленькой некрасивой куклы я не могла. И еще труднее было вообразить, каким образом эта кукла умудрилась организовать такое грандиозное событие – Великую Октябрьскую социалистическую революцию (ВОСР)?

* * *

В жизни каждого советского учащегося ВОСР происходила минимум дважды – в восьмом и в десятом классе. У тех, кто получил высшее образование, ВОСР случалась четыре раза. Чем больше я узнавала, тем меньше понимала. ВОСР притягивала меня, как притягивает то, чего боишься.

Да, я боялась ее, Великую Октябрьскую социалистическую. Боялась так сильно и серьезно, словно это событие что-то значило для меня лично. Смертный ужас, чувство абсолютной незащитности, сиротства, насилия и физической гибели – вот чем она для меня была.

Прабабушки, бабушки, дедушки скупно делились воспоминаниями. Бабушке Липе в семнадцатом было семь. Для нее ВОСР началась так: «Мы сидим, обедаем. Вдруг жуткий грохот, топот, крики. Распахивается дверь, вваливаются какие-то пьяные люди, упирают в нас штыки, кричат: буржуи, встать! Мы встаем. Они хватают со стола скатерть, вместе со всем, что на ней, с тарелками, супницей, соусниками. Связывают скатерть в огромный узел и убегают. Мама, папа, брат Даня, гувернантка немка, няня, горничные – все стоят и молчат. Тишина чудовищная, но недолгая. Опять грохот и крики. Опять влетают со штыками, хватают стулья и убегают. Я спросила папу: что это такое? Он ответил: это революция, Липонька».

Прабабушка Лена к семнадцатому успела закончить Бестужевские курсы и Сорбонну. О ВОСР предпочитала молчать. Иногда что-нибудь прорывалось случайно. Железная дорога, поезд, станция. Пассажиры выходят, чтобы набрать кипятку. В станционном буфете сутолока, никто не решается подойти к баку с кипятком. У бака сидит нечто невообразимое. Серая шевелящаяся масса. Облако, состоящее из миллионов вшей. Внутри, под слоями насекомых, человека не видно. Так и поехали дальше, без кипятку, до следующей станции.

Впрочем, это уже было году в восемнадцатом, в Гражданскую войну. Война почему-то меня пугала не так, как ВОСР. Мой личный ужас сосредоточился именно в конце октября 1917-го. Там блуждали в ночном ледяном воздухе сгустки мрака, огромные тени, и воняло от них перегаром, грязными портянками, махорочным дымом. Этот смрад оказался для меня спасительным. Я задохнулась насмерть за мгновение до того, как они напали. Они терзали тело, в ярости своей не замечая, что нет дыхания. Все, что происходило потом, я наблюдала уже со стороны, из какого-то иного, безопасного времени и пространства, вплоть до грозовой июльской полуночи 1960-го, когда пришлось опять вынырнуть в здешнюю неуютную реальность.

Мама говорит, что, родившись, я посмотрела на нее весьма сердито и орала отчаянно. Вряд ли я сразу сумела сориентироваться во времени, но место не могла не узнать. Роддом № 6 находился в центре Москвы, на Третьей Мещанской улице. Где-то неподалеку, в Капельском, Банном или Больничном переулке меня зверски прикончили смутной октябрьской ночью 1917-го.

Я не помню подробностей, не могу и не хочу помнить. Иногда мне встречаются существа, очень похожие на тех давних моих знакомцев. В толпе мы мгновенно узнаем друг друга. Я больше не боюсь их, я смотрю на них с благодарностью. Милые твари, понимают ли они, какую огромную услугу мне оказали? Мне жутко не хотелось жить в России в период с семнадцатого по пятьдесят третий. Мои древние, сугубо контрреволюционные гены так противились этому, что существа, убившие меня, ни в чем не виноваты. Я виновата, только я. Струсил и пропустила то, что должна была узнать вовсе не как сторонний наблюдатель, а пережить как незащитный очевидец, испытать на собственной тонкой шкурке. Вероятно,

именно этим объясняется мое жгучее любопытство к эпохе великих свершений и к вождям великой эпохи.

Меня всегда завораживали таинственные хитросплетения причинно-следственных связей. Мизерность причин и грандиозность следствий. В октябре 1917-го безвестный маленький лысый эмигрант, лидер кучки экстремистов, при посредничестве немцев вернулся из долгой эмиграции и захватил власть в России. За год его правления от огромной мощной богатой державы ничего не осталось. Стояли заводы и фабрики, не ходили поезда, хлеб не сеяли, у крестьян отнимали последние запасы.

С одной стороны – наглая авантюра, ловкая жульническая сделка, с другой – искалеченные души и судьбы миллионов живых людей, разграбленная, униженная страна.

Вроде бы все прошло. От уголовной пошлятины ленинско-сталинского большевизма остался лишь пыльный хлам плакатов, портретов, газет. Стоит ли рыться в этой исторической помойке, пачкать руки, дышать смрадом? Что там можно найти? Конечно, сохранились архивы, но что они скажут, если целая армия профессионалов год за годом, день за днем занималась расчисткой и фальсификацией документов великой эпохи? Протоколы и приказы печатались на специальной бумаге, которая истлевала сама, лет через пять-семь. Свидетельства очевидцев вроде Бонч-Бруевича тоже истлевали сами, поскольку мемуары переписывались авторами каждые пять-семь лет, в соответствии с очередной линией партии, таким образом, что одни и те же события в каждой последующей версии менялись до неузнаваемости.

Я не знаю, где кончается придуманный сюжет и начинается жизнь. Вопрос этот для меня мучителен. Никогда не сумею на него ответить, но постоянно ищу ответ. Иногда мне кажется, что разница именно в конечности. Всякий сюжет имеет свой финал. Жизнь бесконечна. Короткий отрезок физического существования, от рождения до смерти, может стать увлекательным сюжетом. Для моего замысла средняя длина отрезка оказалась недостаточна. Я замыслила большой роман о ВОСР и ее последствиях. Мне понадобился герой-очевидец. Герой не только в литературном, но и в человеческом смысле. Мне нужен был человек, который в отличие от меня не струсит, переживет, доживет, все запомнит и сумеет рассказать. У него другие гены и шкурка потолще моей.

Решить проблему со средней длиной отрезка можно было лишь одним способом: отыскать рецепт эликсира молодости. Я занялась этим со свойственной мне дотошностью, впрочем, в начале пути я надеялась, что изобретать самостоятельно ничего не придется. За четыре тысячелетия упорных и самоотверженных поисков лекарства от старости и смерти кто-нибудь что-нибудь нашел, пусть непригодное для практического применения, но хотя бы из разряда возможного, вероятного. Цель моя была бескорыстна, я не собиралась омолаживаться, эликсир требовался всего лишь моему персонажу.

Сразу возникли вопросы. Я что, намерена создать героя-алхимика? А вдруг вместо героя у меня получится гомункул, искусственный человек?

* * *

Есть несколько версий происхождения термина «алхимия». От латинского «humus» – земля, от китайского «ким» – золото. От египетского «кеми» – «черная земля». Арабское «ал» позволяет перевести термин как «философская химия». Первоначально «кеми» обозначало тайную науку жрецов Египта. Основатель ее античный бог Гермес. Греки считали его богом торговли и плутовства, проводником душ в подземном царстве. Позже к его имени прибавилось определение «Трисмегист», то есть «Триждывеличайший» (эпитет вполне сгодился бы для Ленина). Главный труд Гермеса Триждывеличайшего, «Изумрудная скрижаль», высечен алмазной палочкой на изумрудном диске. Диск с текстом нашли солдаты Алек-

сандра Великого в Великой пирамиде в Гизе, а пирамида эта является усыпальницей Гермеса.

«Вот что есть истина, совершенная истина, и ничего, кроме истины: внизу все такое же, как и вверху, а вверху все такое же, как и внизу. Одного уже этого знания достаточно, чтобы творить чудеса. И поскольку все вещи существуют в Едином и истекают из Него, это Единое, которое есть Первопричина, порождает все вещи в соответствии с их природой.

Солнце – Его отец, Луна – Его мать, Земля – Его кормилица и защитница, а ветер лелеет Его в своем чреве. Единое есть Отец всех вещей, в нем заключена вечная Воля. Здесь на земле Его сила и власть пребывают в безраздельном единстве. Землю подобает отделять от огня, утонченное от плотного, но только осторожно и с великим терпением. Единое же возвышается с земли до небес и опускается с небес на землю. Оно таит в себе силу вещей небесных и силу вещей земных. Чрез это Единое вся слава мира сего станет твоею, а все неведение покинет тебя.

Это сила, могущественнее которой быть не может, потому, что Она проникает в тайны и рассеивает неведение. Ею был создан этот мир. Она свершает великие чудеса, ключ к которым содержится в этих словах.

Именуют меня Гермес Трисмегист, ибо я постиг три основных принципа философии Вселенной.

В словах моих содержится итог всей солнечной работы».

Прочитав это, я подумала: «Боже, какая пафосная чушь!» В комментариях утверждалось, что «Скрижаль» содержит квинтэссенцию всей мудрости мира. Мне тут же вспомнилось: «Коммунизм – это молодость мира» и «Учение Маркса всеильно потому, что оно верно». Ассоциация с марксизмом-ленинизмом была настолько очевидной, что я устыдилась своего пренебрежения к тексту Триждывеличайшего.

За многие века накопилась огромная библиотека комментариев к «Скрижали». У меня хватило терпения прочитать некоторые из них, они показались мне еще туманней самого текста. Мне ужасно хотелось узнать, что разумел Трисмегист под понятием «Единое»? Не надеясь отыскать внятного ответа у комментаторов, я положила на собственные скромные возможности.

Утверждение «*Чрез это Единое вся слава мира сего станет твоею...*» показалось мне знакомым. Нет, не утверждение, предложение, причем деловое, так сказать, коммерческое. Не случайно для древних греков Гермес был богом торговли и плутовства. Значительно позже, в самом начале нашей эры, а именно в 33 году от Рождества Христова, в Иудейской пустыне прозвучало весьма похожее предложение: «*Тебе дам власть над всеми царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если Ты поклонись мне, то все будет Твое*» (Евангелие от Луки, гл. 4, ст. 6, 7).

На гравюре Доре «Дьявол искушает Иисуса» дьявол – мужчина атлетического сложения с рожками и большими, остроугольными, перепончатыми, как у летучей мыши, крыльями. Вряд ли стоит напоминать, что это, второе по счету, предложение было отвергнуто Христом, как и два других. Любопытно, что первое заключалось в превращении камня в хлеб. То есть, по сути, рогатый предлагал Христу заняться тем, что алхимики именуют трансмутацией, преображением вещества. А третье, последнее, прозвучавшее в Иерусалиме, на крыле храма, сводилось к уговорам броситься вниз. Это уже была не пустыня – внизу, под стенами храма, толпился народ, публика, жадная до чудес.

«...если Ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедует о Тебе сохранить Тебя, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею» (Евангелие от Луки, гл. 4, ст. 9–11).

Вот было бы чудо из чудес! Это выглядело бы куда эффектнее исцелений, возни с прокаженными, параличными, слепыми, бесноватыми. Это сработало бы убедительней проповедей, повысило бы статус проповедника, придало бы каждому его слову тяжесть непререкаемую. Все бы мгновенно поверили, слушали бы затаив дыхание. И никаких унижений, побоев, распятия, крестных мук. Пальцем никто бы не посмел тронуть.

Если бы утверждение, будто *«внизу все такое же, как и вверху, а вверху все такое же, как и внизу»*, являлось истиной, Сын Божий поступил бы именно так, как предлагал ему искушитель. Он бы насильно заставил толпу верить, чтобы никто никогда не посмел усомниться в Его беспредельном могуществе и абсолютной власти.

Демонстративное площадное чудо это насилие. Оно исключает свободу выбора и возможность веры. Это то, что *«внизу»*. Триждывеличайший не только бог плутовства, но еще и проводник душ в подземном царстве, в преисподней, *«внизу»*.

«Одного уже этого знания достаточно, чтобы творить чудеса».

На самом деле обнаружение «Изумрудной скрижали» солдатами Александра Великого в пирамиде Гизы всего лишь легенда. Когда и кем написан этот текст, неизвестно, впервые он упомянут как исторический документ в каталоге личной библиотеки Альберта Великого, жившего в XIII веке нашей эры. О чем в нем идет речь, понять может только посвященный, глубоко посвященный, очень глубоко посвященный в то, что *«внизу»*.

Семь веков «Скрижаль», переведенная на десятки языков, цитируется разными авторами как квинтэссенция «всей мудрости мира». Все, пишущие о «Скрижали», твердят, что она оказала и продолжает оказывать невероятное влияние на человеческие умы, на ход истории, на развитие науки и культуры, на европейскую цивилизацию. Так и хочется уточнить: вот эта подделка? Эта писулька? Именно ее вы имеете в виду? Отлично знаю, что услышу в ответ снисходительное: вам не дано понять глубокий смысл «Скрижали», вы не посвящены, вы мыслите обывательски.

Ну, ладно, мыслю, как умею. Ничего с собой поделаться не могу, меня настолько завораживают хитросплетения причинно-следственных связей, несоответствие мизерности причин и грандиозности следствий, что я забываю об изначальной цели своих поисков, о философском камне, эликсире молодости.

Между тем будущий мой персонаж начал потихоньку предъявлять свои права. Я так много думала о нем, что он, еще не сочиненный, возомнил себя уже существующим.

Однажды теплым июньским вечером на даче я включила компьютер, посмотрела на закатное облако, тонкое, ровно изогнутое, оно переливалось от алого к лиловому, через желтизну и было похоже на недорисованную радугу. Я поняла, что придется подарить герою это облако, вместе с луной, которая тем ранним вечером тоже осталась недорисованной и выглядела как маленькое прозрачное круглое облако.

На соседнем участке наконец выключили газонокосилку, в тишине я услышала первое дыхание моего героя и подумала, что пора дать ему имя. Потом проступил влажный шелест кузнечиков. Герою этот звук показался торопливым, настырным, похожим на тиканье старого механического будильника. Герой нервничал, спешил проснуться, очнуться, он был жутко энергичный, деятельный, его мучило любопытство, у него затекали конечности от неподвижности.

Я сидела посреди лужайки, за старым подгнившим столом из неотесанных досок. Черные доски намокли от росы. Сладко дымилась зеленая противокмаринная спиралька, но комары все равно кусали нещадно. Пора было идти в дом вместе с компьютером. На краю

стола стояло блюдо с водой, оставшейся после утреннего дождя, в ней плавал маленький бледный березовый лист. Начинать роман сейчас было все равно что отправляться в плавание на этом листочке по блюду.

Герой возник в дверном проеме веранды, спустился с крыльца и прошел мимо, не замечая меня. Он был одет тепло, по-зимнему, и нес на руках ребенка, завернутого в тулуп. Он шагнул по лужайке к бревенчатому мостику над канавой, и мокрая от росы трава скрипела под его ногами, как снежный наст.

Я замерзла, у меня зубы стучали от холода. Я увидела, как он застыл на краю мостика уже один, услышала, как свистит ветер. На самом деле он стоял на старом пирсе, перед ним простирался ледяной Финский залив. По льду залива мчался буер. В метельной мгле терялись очертания паруса. Меня обожгло нестерпимой тоской. Я не могла понять, что происходит, но чувствовала, как больно ему, не существующему. Несколько минут назад он передал сонного ребенка с рук на руки туда, в буер и попрощался навсегда с женщиной, которую любил всю жизнь. Ребенок ее сын. Она бежит из России к мужу. Все в спешке, в страхе, он сам устроил побег, иначе она бы погибла.

Я еще понятия не имела, что это одна из финальных сцен третьей части романа, что дело происходит зимой 1922-го, но сквозь меня уже проходили волны жуткой боли моего героя, ледяной пустоты, разрывающей его сердце. Он никогда ее не увидит. Нет, я не желала ему этого и в тот вечер не написала ни строчки. Вечер был такой чудесный, теплый, тихий. Я подумала, что, может быть, все обойдется, она останется с ним или он сбежит с ней. Он любит ее так сильно, что никакая ВОСР, никакие вожди не могут их разлучить. У человека всегда остается выбор. И что на свете важнее любви?

* * *

Начало романа, еще задолго до первой строчки, обозначено для меня отчетливой приемью не то чтобы чужих, но несвойственных мне чувств. Не могу похвастать, что знаю себя достаточно хорошо, но мне всегда хватает точности слуха, чтобы отличать собственные внутренние мелодии от тех, что звучат извне. Мои мелодии минорны. Печальное адажио. Никаких аллегро и скерцо, никаких дуэтов, тем более оркестров. Только соло. Невозможность дуэтов объясняется вовсе не количеством пережитых предательств, а лишь особенностью профессии. Тишайшее грустное соло не заглушает внешних звуков, позволяет уловить и расслышать музыкальные темы персонажей, какой-нибудь развеселый мотивчик, бесшабашную смешную песенку, надрывную исповедальность романса, истерику кабацких всхлипов, гипертоническую пульсацию парадного марша или океанский плеск симфонического оркестра.

Внутреннее эхо других жизней столь навязчиво, что приходится проживать эти жизни вместе со своей собственной или вместо нее, распутывать невидимую пряжу, на ощупь отыскивать узлы и кончики нитей, спряденных древними мойрами.

Три старушенции, богини судьбы, дочери Зевса и Фемиды, ни на миг не оставляют своего рукоделия. Мойрами их называли греки, но мне больше нравится римское «парки». За работой они бесконечно ворчат, напевают, бормочут, ссорятся. Звуки вплетаются в волокно.

Добродушная умница Клото упрямо прядет нить. Шелк нежен и прочен, но из-за тонкости слишком легко путается. Мягкая шерсть остается вялой, рыхлой и непрочной, а жесткая груба и колет руки. Чаще других идут в работу лен и хлопок, они просты, прочны, однако узор из них уныл и однообразен. Нервная злующая Лахесис затягивает петли, туго завязывает узлы. Хладнокровная рассудительная Атропос обрезает нить, иногда ножом, иногда рвет зубами. Из трех сестер Атропос больше всего похожа на мать Фемиду. Ее нельзя перехитрить, но можно убедить в справедливости отсрочки.

Эликсир молодости казался мне серьезным доводом. Я продолжила поиски и обратилась к древним китайцам.

В отличие от египтян и греков, они не верили в бессмертие души и духа, изо всех сил цеплялись за физическое существование. Китайская алхимия целиком посвящена поискам разных способов сохранения материальной телесной оболочки, если не навсегда, то хотя бы на максимально долгий срок, и не в виде мумии, а в виде живого человека. Китайские бессмертные «небожители» обитали в различных областях физического мира, высоко в горах или на далеких островах. В IV–V веках до нашей эры цари посылали туда своих медиков, чтобы они нашли там «бессмертных» и узнали у них рецепт волшебного снадобья. Цель китайской алхимии была сформулирована в алхимическом трактате II века нашей эры.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.